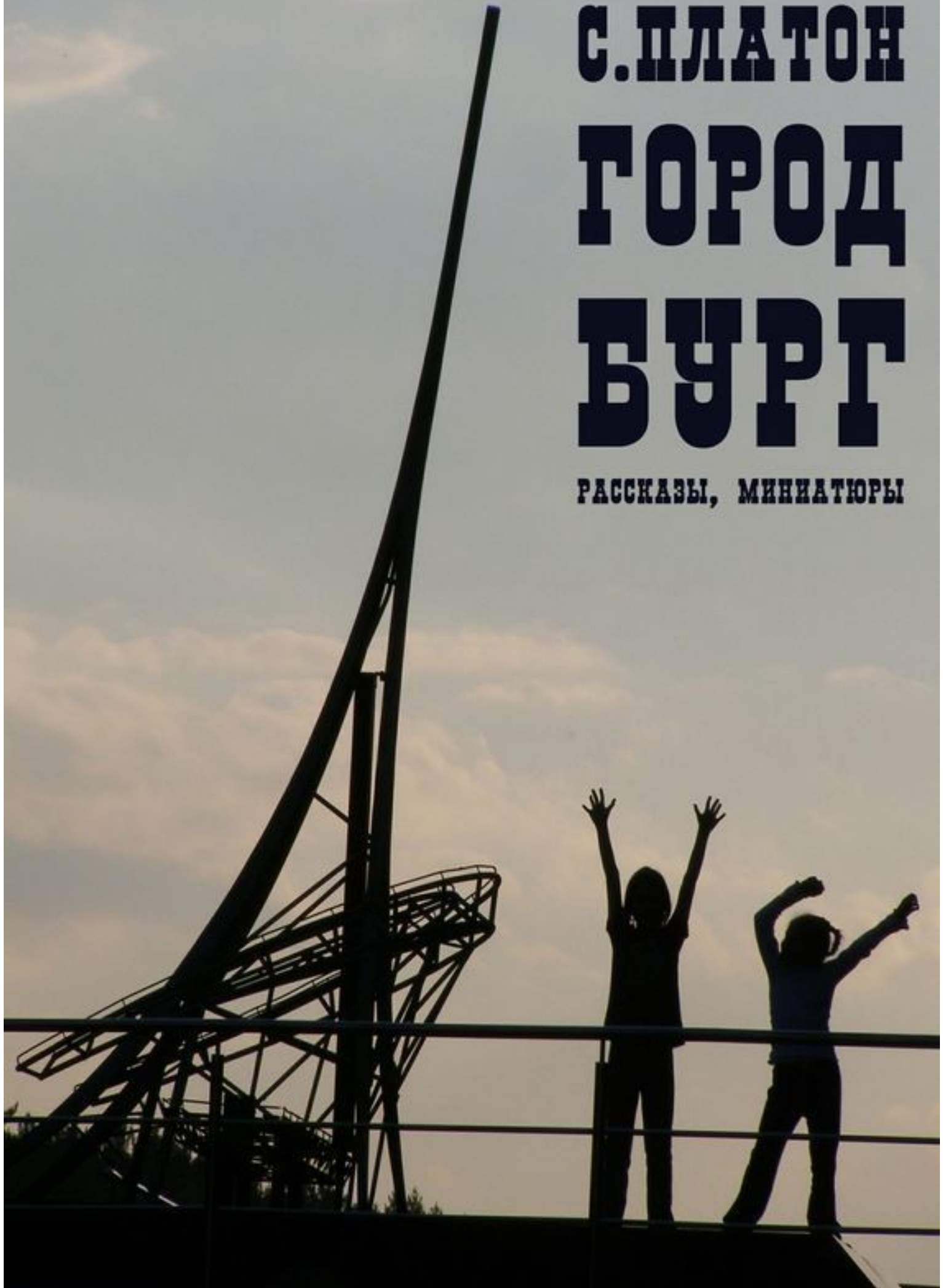


С. ПЛАТОН ГОРОД БУРТ

РАССКАЗЫ, МИНИАТЮРЫ



Сергей Платон

Город Бург. Рассказы, миниатюры

«Издательские решения»

Платон С.

Город Бург. Рассказы, миниатюры / С. Платон — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-742628-6

Вот вы и в Бурге! Добро пожаловать в Свердловск и Екатеринбург, а также в Катер, Катьку, Ёбург, ЕКБ, ЕКАТ и даже просто в город Е! Вот сколько славных и не очень, просторечных и официальных, возвышенных и низменных имен выдумала себе за триста лет столица Урала. Ну, о том, какая мы на самом деле столица и чего именно, надеюсь, будет еще время посудачить, пока давайте с именем определимся. Бург... Сколько смыслов запечатано в этих четырех буквах!

ISBN 978-5-44-742628-6

© Платон С.
© Издательские решения

Содержание

Журавли	6
Сырк	7
Майский снег	8
Исторический максимум	9
Колесо обозрения	11
ДЖД	14
Котоводка	16
Корм	17
Книжный мир Шарташского рынка	18
ВИЗ и НИЗ	19
Средний класс	21
Советский дворик	23
Курение вредит!	25
ДК Горького	26
Зеркало	27
Вынос	28
Странный Виктор	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Город Бург Рассказы, миниатюры

Сергей Платон

Дизайнер обложки Сергей Платон

Корректор Сергей Булавин

© Сергей Платон, 2018

© Сергей Платон, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4474-2628-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Журавли

– Высота, не высота... осень... даль какая-то... Вот водка мне нужна такая... Высота? Или даль? называется она... как-то красиво...

– Журавли?

– Точно! Две бутылки.

Только что брал основной продукт в соседнем гастрономе по фамилии «Исетский» и заслушал, стоя в очереди, этот милый диаложек.

Но как же Настя, грушевидная, редко приветливая продавщица винного отдела, пунцовое лицо которой ярко отражает все её лихие сорок лет, сумела разом догадаться, о чем попросил очень стесняющийся мужичок в несвежем адидасовском костюме, промокшем на плечах от снега? Умничка, Настасья!

Даль, осень, мокрый город, водка, красота и высота.

Конечно, журавли... Действительно, красиво...

Сырк

Крохотная чувашская бабушка заблудилась в уральском мегаполисе. С утра шла в церковь, и все время попадала в цирк. Услужливые горожане весь день направляли, пальцем тыкали, рукой показывали, быстро объясняли, куда и как идти, даже рисовали на бумажке оптимизированный бабушкин маршрут. Старушка обалдела от жары и пыли, от доброго внимания к себе и от мистической недостижимости поставленной задачи. Уже кругов пятнадцать по центру намотала, проехала в маршрутке, на трамвае, на метро. Сплошные фокусы и чудеса! Все дороги города приводили к цирку!

Там рядышком, через дорогу, у забора Дендрологического парка, остывающим летним вечером, я и подслушал-подглядел скиталицу. Рядом стоял участливый пацан, шуря порочные от рождения глаза. Он безостановочно и аккуратно сплевывал в сторону ограды, стараясь не задеть плевками прутья кованой решетки, и внимательно прислушивался к путаным словам:

– Сырк! Сырк! Мне в сырк! В сыркв надо!

– В церковь, что ли? – смеясь, переспросил спаситель. Пусть был он пьяненьким, помятым, неприятным с нашей точки зрения, но только он и понял.

– Сырк! Сыркф! – отрадно закивала бабуля.

– Пойдемте, мама. Отведу! – неожиданно нешуточно ответил парень.

Майский снег

Пушистый, мягкий, розовый...

Теплый майский снегопад в Свердловске шестьдесят пятого года двадцатого века.

Смотрю на старую фотографию и прекрасно понимаю, что это же несколько не выцветшие краски! Это же реальная цветовая гамма того самого времени! Пастельная живопись снежных мазков, случайный фоновый оранжевый трамвайной раскраски, желтая капля фонаря, густо присыпанная снежком, будто солью. Рядом почти наголо постриженная акация, фасадная охра хрущевских многоэтажек, расчерченное белой пешеходной зеброй сизое зеркало асфальта.

Мне кажется, я из всего из этого родился.

А в центре фотки – женская фигурка с сумкой. Мама? Плащ, косынка, туфли с каблучком. Всё в гамме времени, всё та же приглушенная зелень, охра и немного розового. Да и снег летит такой же, охристо-зелено-розовый.

Могло же так случиться, что именно она (со мной внутри) прошла тогда под объективом? На обороте же написано: «май, 1965». Изумительная картинка, истинный портрет исчезнувшей эпохи. Через два месяца после нее, в июле, много лет назад, я появился в этом городе.

Исторический максимум

В екатеринбургском Доме Метенкова этой ночью дышалось тяжело, будто в деревянном туюске, оставленном в остывающей русской печи. Глотаешь жаркий воздух полной грудью и не можешь продохнуть, такой тягучий дух завис во всем особняке, тяжелый, маслянистый и невкусный. Было легко почувствовать себя куриной грудкой, карпом или раком, тушеном в собственном соку. Трактирным блюдом я себя и ощущал.

Пикантный пот подчеркивал все те же чувства. Какими же им быть в подобной атмосфере? Где пот, там и кабак, трактир. Тем более, в таком пространстве – второй этаж особняка из девятнадцатого века. Тем более, второй этаж на каменной основе первого, плюс – жестяная крыша. Подобные дома в свое время звались полукаменными.

Таких домов пока по городу живет еще немало, хоть их и резво выкорчевывали в ельцинские времена, да и в нынешние тоже продолжают изживать из городской среды. Оставшиеся, крепко впившиеся в историческую часть, сейчас напоминают угли. Днем раскаляются, а ночью остывают. На всем Урале буйствует многонедельная засуха, а в Екатеринбурге установился какой-то уж совсем металлургический зной. Первая новость у всех радиостанций – исторический максимум температур.

Лето. Народ вспотел, разделся. Думает, что носит шорты, бриджи, джинсы, брендовые юбки и спортивные костюмы, на самом деле сызнова нарядился в те же самые вечные трусы, порты, рейтузы, кальсоны, панталоны, штаны, сарафаны и прочие «ночнушки». Разыскивая тень, вышагивают по улицам уездной столицы сотни тысяч новых модников в исподнем из позапрошлого века. Оно на первый взгляд смешно, но так хотя бы не так жарко. Все озабоченные, гордые, шныряют мимо Дома Метенкова, мимо снаружи милого музея, куда пируэт биографии запарил меня служить охранником.

А вот и не охранником, а сторожем, этак-то точнее. Почитай вот весь июль хожу-сторожу. Слово «сторож» уютное, мирное, несколько пенсионное, мне в самый раз. Какая вот разница, где мне ходить ночами из угла в угол, в своей пятиэтажке или в доме Метенкова? А слово «охранник» тревожное, воинственное, бойцовское, музейной реальности чуждое. А книжки не кормят. А если кормят, то не авторов. А писать надо. Есть такое слово – «надо», даже если ты не графоман, а графофоб и пишешь только то, что очень-очень надо. А в музее сторожам за сутки хождений из угла в угол положено жалование. Конечно же, не только за одни хождения, за монтаж и демонтаж выставок, за гардероб, за разнообразную погрузку и разгрузку, за дворницкие, сантехнические и курьерские труды. Радость-то какая!

Свой автограф вечности я здесь уже оставил, чуть ли не в первый день! И это были далеко не тексты. Я же собственноручно (целиком), серьезно и густо покрасил «черную лестницу» масляной краской цвета младенческих какашек. Последние сто лет полы и лестницы здесь красят только этим цветом. С годами и мой слой закрасят, но он будет! Таких слоев там сотни. Вот же оно, мое письмо в культурный слой.

В этом доме, ночами, прекрасно читается Чехов. В этом доме отвратительно пишется новые тексты. Беспокойный он, суетный и суматошный всяким днем, а по ночам ворочается и хрустит-скрипит всеми углами. Не спит он толком, как и все дома вокруг Вознесенской горки. Сон у него тревожный, короткий.

Вот и хожу себе, днем в доме тружусь, ночью дом сторожу. Понятным делом занят.

В должностной инструкции твердо прописано: «без права сна», однако раскладушка полагается. Нюанс профессии, попробуй, поскачи тут сутки на ногах, нет-нет, а надо вытянуться. Особенно в такой-то духоте.

Ночь пропитывает тишиной интерьеры и мысли. Под самым потолком постанывает плоский кондиционер, какая-никакая, а прохлада. Ночь в самом центре Екатеринбурга, ночь

в музее. Двери заперты, книга дочитана, дом остывает. В форточки течет уже не зной, а легкий теплый ветерок, и вместе с ним порою долетает смех уличных девок, светятся зеленые дежурки тусклым словом «выход», изредка, за окнами, пердя моторами, проносятся дурные байкеры. Ну, правда же, пердят проказники, другого слова и не подобрать. «Они так озоруют, шельмы», сказали бы о них лет сто назад. Теперь, наверно, говорят: «выделываются, трескуны». Зато напоминают мне о должностной инструкции. Да и вообще, какой тут сон, когда аж стекла дребезжат? Простая ночь без права сна.

Все ночи так оно и было, но не в эту ночь.

А мог бы догадаться, посмотреть на календарь, ведь этой самой ночью, почти сотню лет назад, здесь у нас убили маленького мальчика с родителями и со всеми сестрами. Здесь расстреляли царскую семью. Тут, в этом самом месте, у подножия Вознесенской горки, в Ипатьевском доме, в двух шагах от Метенковского.

Говорят, семья «пошла ко сну» в 22.30, и расстрельная команда собралась примерно в то же время. А у меня в музее этой ночью именно в половине одиннадцатого сломался кондиционер. Пыхтел, пыхтел, и отключился, оставив задыхаться в липком зное. Даже банальный литератор такой символикой побрезгует, как и самый затрапезный символист. Пошлятинкой все это отдает, и не годится кассовым сюжетам.

Но жизнь, как выяснилось, не литература, ей – годится.

Какой тут сон? Сиди теперь, кури и думай. Не думай, чувствуй. А о чем, зачем? Да вот, хотя бы о том, о чем ОН чувствовал (да, именно не думал, чувствовал) той душной ночью под редкий скрип телег, вскрики озорников, короткий смех уличных девок и, уж прошу прощения, громкий пердёж входящих в моду авто.

Колесо обозрения

– Знаешь, как он тебя назвал?

– Как?

– Новый папа! – глухо рассмеялась коренастая женщина, прикрыв улыбку кожаной сумкой с потертым, аккуратно заштопанным уголком.

Из сумки торчали игрушки, бутылка сладкой газировки, лопатка и зонтик, свисал капюшон детской курточки, виднелся помпон вязаной шапки. А над всем этим типичным родительским набором самого необходимого для воскресной прогулки в парке с ребенком сияли счастливые глаза. Их даже несколько не портила излишне яркая подводка, черная тушь на светлых ресницах и синие тени. Глаза эти тоже смеялись безмятежно и искренне.

Коренастый мужчина в новом и явно неудобном костюме, сморщив губы улыбкой, присел на корточки над большеголовым малышом. Ребенок выпучил и без того огромные, совершенно мультяшные глаза с белесыми ресницами, разглядывая коричневые лацканы, блестящий золотом значок, ворот клетчатой рубашки, золотой колпачок авторучки, прицепленный к наружному карману, узел синего галстука и крепкую красную шею. Так близко он увидел их впервые, как и огромные ладони, взявшие его за плечи.

– Так, слушай, – глухо откашлялся мужчина. – Какой я тебе новый папа? Я твой просто папа! Скоро вместе будем жить. Все вместе, ты и я, и мама. Понял, Лёнчик?

– Я Алеша.

– Какая разница? Ты меня понял? Кто я для тебя?

Мальчик абсолютно не разобрался, на какой из вопросов надо ответить, но на всякий случай согласился:

– Да.

– Что да? Кто я тебе?

– Папа? – осторожно предположил мальчуган.

– Папа, да. Соображай, друг дорогой, и не тупи.

– Пить будете? – присаживаясь рядом, спросила мама. Положив сумку, игриво вынула большую пластиковую бутылку, выдала им в руки, прильнула всею собой к коричневой мужской спине, уцепившись руками за широкие плечи. Она дурачилась, ей нравилось резко выглядывать то из-за одного, то из-за другого плеча, показывая сыну язык. Детеныш хихикал, такая игра ему тоже нравилась, он раскачивался, пытаясь угадать, откуда вновь появится мамино лицо.

Над ними, хрустя и скрипя, медленно вращалась громадина старого колеса обозрения. Ветхое оно у нас, это колесо, ржавое, скрип от него на весь парк. Честно-то говоря, боязно влезать на такое вот, действительно чёртово колесо, дай бог ему здоровья, готовое не сегодня, так завтра сорваться с прогнивших опор, эффектно скатиться под горку, и с грохотом плюхнуться в обмелевшую речку у парковой набережной. Скрежет от его вращения беспокоил то ли тихим воем, то ли стоном некоего крупного животного, завершающего свою жизнь. Сомнений никаких, скоро эта жизнь закончится наверняка, колесо стоит в парке Маяковского годов с семидесятых прошлого века. Все, решающие прокатиться, тревожатся, конечно, а вдруг как раз в момент их близкого знакомства с этим чудищем, как раз в момент их отрыва от земли издохнет наше механическое существо и рухнет вместе с ними? Все трусят, не без этого, однако не уходят. Как говорится, все пищат, да лезут. В кассу вон целая очередь выстроилась.

– Не сдам я вам! Идите, меняйте... – выстрелил острый голос из недр кассовой норы, как из амбразуры.

– Вы обязаны сдать сдачу! – гневливо просипел в ответ мальчишкин папа, наклонившись к окошку, будто к микрофону. Он не принял возражений, насутился уже, раздражался, но дер-

жался. Билеты были у него в руках, мальчик ежился и жался к маме, а на блюде кассы сквознячком трепыхалась новенькая купюра самого крупного номинала.

– Ну, хорошо, я сдам. Только разменяю сначала, – неожиданно мирно прокричала кассирша, – подождите чуток.

Купюра исчезла, окошко закрылось, маленькая бытовая война не состоялась.

Двое почти взрослых школьников из очереди тут же заняли вынужденную паузу увлекательной игрой в войнушку, не хотелось им стоять спокойно. Эти лоботрясы срывали оранжевые гроздья переспелого кизила с кустов, окружающих кассовую будку, быстро съедали вяленую мякоть, обсасывали косточки до белизны, от кислоты комично-драматично корчили друг другу кислые рожи, и метко стреляли косточкой из влажных пальцев прямо в рожу противнику, стараясь увернуться от ответных выстрелов. Прямое попадание рождало громкий хохот, причем, не только у дурашливых бойцов, затеявших потешную перестрелку, но и у очереди.

– Так, блин, живой уголок имени Дурова, может, уже пропустите меня? – кричала вернувшаяся кассирша, норовя проскочить к своей двери за кустами, и тоже смеялась.

По дороге она сунула сдачу в руки мужика с билетами, почти уже исчезла в будке, но тут в ее затылок, последним залпом той комической войны, прилетела кизиловая косточка. Парни вытянулись по стойке смирно. Кассирша развернулась, медленно прошла перед ними, будто низкий генерал перед строем долговязых новобранцев, неспешно изучая очень серьезные лица с очень смеющимися глазами, покрутила у каждого перед носом меленьким кулачком, возвратилась к двери и уже оттуда крикнула:

– Я вот вам стрельну! Мало не покажется!

Вновь открылось окошко, очередь резво двинулась и скоро начала исчезать. Притормозилось движение, когда подошел черед двух лоботрясов, они положили на блюде необходимую сумму, а вместо билетов увидели фигу из кассового окна. Народ, естественно, смеялся. Чем завершилась новая стадия комичной войнушки, Алеша, мама и новый папа не узнали, поскольку они уже подошли к новой очереди, на посадку.

Рассаживал суетливый дедок в мешковатом комбинезоне. Он отрывал корешки билетов, на ходу вталкивал пассажиров аттракциона в проплывающую люльку с четырьмя металлическими креслицами, тыкал пальцем в цепочки и крючки на ручках сидений, объясняя, что это страховка, пересчитывал по головам, чесал бороду под подбородком, и бежал к сетчатой калитке за следующей группой. Пропуская Алешу с мамой, дед поторопился, сначала прижал сумку калиткой, помяв пластиковую бутылку и зонтик, потом резко выдернул и впихнул в руки растерянной женщины.

– Я чота не понял, – гневно ругнулся мужчина, – ты чо это, отец? Глаза разуй! Видно, не отпустило его предыдущее раздражение, теперь вот и выплеснулось.

– Простите, – невозмутимо извинился дед.

– Ладно, езжайте, я жду.

Поднимаясь, люлька дребезжала и немного раскачивалась, под ней завывали моторы, с каждой секундой этот электрическо-металлический гул становился слабее, он оставался где-то внизу. Алеша и мама плавно взмывали над городом. Мальчик вцепился в холодные поручни, смотрел только прямо перед собой, сбивчиво дышал и трясся. Мама говорила ему что-то ласковое, показывала какие-то дома на горизонте, объясняя, что вот там, среди них, находится их дом. Мальчишка взглянул в сторону маминых жестов, посмотрел ей в лицо, всхлипнул, опустил глаза в пол. Мальчик плакал.

– Ну, что ты хнычешь, Лёшик? Прямо, как лялька. Ты ведь уже большой.

– Ботиночки, – чуть слышно прошептал ребенок.

– Что?

– Ботиночки, – каким-то ужасающим шепотом выдохнул мальчик.

– Ничего не понимаю, что за ботиночки? – спросила мама и пересела ближе.

– Ботиночки... на глазки... – уже не шептал, а кричал сквозь рыдания маленький человек. Лицо его искажал вовсе не страх, а отчаянное недоумение. Он совсем не боялся высоты, он испытывал настоящую горе от потрясающего впечатления, только что случившегося там, на земле. И мама все поняла, усадила к себе на колени, прижала к груди.

– Господи... Как же ты жить-то будешь?.. Неженка... Ляля... – тихо шептала она прямо в его макушку. – Ты его не бойся, он просто так сказал. Это просто слова. Это люди просто так говорят: «разуй глаза». Это люди ругаются так. Надо же... Ботиночки на глазки...

На самом верху Алеша успокоился и заснул, а мама, пока он не видел, немного поплакала, не особенно осознавая причину своих слез, скорее чувствуя ее.

Все радости уходящего дня, все эти милые проявления элементарной, такой редкой для нее беззаботности, пропали. Уже не радовало наличие денег на мороженое и на «домой доехать», не веселили качели-лодочки, когда на крайней точке раскачивания щекочет в животе, не забавляли американские (которые русские) горки, когда ты вдруг не понимаешь, где верх, где низ на этом свете. Не очень-то огорчило, но быстро наскучило такое желанное в детстве путешествие на ДЖД (детской железной дороге). Они долго покупали билеты, ждали отправления, медленно тащились в игрушечном вагоне по узкоколейке с остановками на крохотных станциях, пока не приехали туда, откуда выехали.

Сынок быстро забыл все свои страхи, играл с новым папой, набираясь новых впечатлений. А вот она никак не могла рассмеяться, не могла совладать с испорченным настроением, не могла просто выдохнуть, чтоб раз и навсегда забыть эту глупую фразу: «ботиночки на глазки».

ДЖД

Ах, как преобразился Екатеринбург!

Похорошел, отстроился всего-то за десяток с небольшим относительно спокойных и благополучных лет нового века. На месте жутких вековых трущоб, помоек, пустырей, деревянных заборов и дряхлых избушек «на курьих ножках» неожиданно динамично вытянулись острые высотки, засверкали огромные окна и зеркальные витрины, запестрили рекламные конструкции. В общем, буйно проросла новейшая торгово-офисная архитектура. Расцвел город! Приятно посмотреть: стекло, металл, асфальт, бетон, брусчатка, стройные мачты новых фонарей. Свежо и аккуратно. Любо-дорого окинуть взором любой район, что центр, что окраины. Хорош город, хорош! Как, впрочем, и горячая десятка остальных провинциальных городов-миллионников, традиционно гордых региональных центров России, ревностно оспаривающих друг у друга бумажный титул «третья столица».

Ох, как же Екатеринбург обезобразился!

Нет, ни в коем случае нельзя запихивать пивной ларёк-стекляшку в классическое музейное пространство, вам об этом даже первокурсник Арха скажет. Непозволительно хай-тековой стилистикой пополам с рекламным авангардом изгаживать когда-то гармоничные ландшафты трехсотлетнего города. Исторический центр бы, хотя бы, пощадили бы, что ли! Натыкали рядом с кирпичными особняками тощих свечей-высоток, зеркальных кубиков и цилиндров, аж в глазах рябит. Бестолково, отвратительно и безобразно! Пропал город, пропал! Пожирают его торгово-офисная архитектура и новейшая маркетинговая мораль торгово-офисного века. Жуть!

Вчера долго сидел-корпел на творческой кухне, а когда окончательно заплесневел недописанными текстами, застрял в недодуманных мыслях, закис неясными идеями, как незадачливый паук, запутавшийся в собственной сети тенёт и паутин, резко встряхнулся, подскочил, засобирился на прогулку. Поводов для моциона не было никаких, но я, решительно стряхнув недопроявленные думы, отправился «куда глаза глядят». Поднялся, нарядился во все теплое (голенькая осень на дворе) и пошел в свой город, смотреть места, в которых появляюсь редко и которые всегда вещают мне о чем-то важном, но неясно и непрямо. Любое место, появляясь в нем раз в десять лет, становится мистическим и знаковым. Ходить туда полезно. Хотя, все знаки, предопределения, приметы и намеки мы таскаем на себе. Но именно в таких местах они яснеют и становятся прозрачней как-то.

Итак, иду. Конечно же, не в центр. Конечно, к пивзаводу, которого уже нет. Здесь теперь развязка многоуровневая и строительный супермаркет. По телевизору хвалились, мол, скоро сляпают на этом месте еще и новое многополосное шоссе. Такие прогрессивные новости скорее радуют, инфантильную гордость пробуждают за регион, за город, за страну. Причастность чувствую. Я же здесь живу, а тут улучшения теперь кругом, сплошные преобразования. Часто корявые и безобразные, но они много краше бывших унылых помоек, смрадных пустырей и безысходных заборов. Нынешняя округа вся утыкана длинными фонарями. Ой, простите, мачтами городского освещения. Ночами этот светлый развязочный серпантин чем-то московским отдает, мегаполисным духом пронизывает. Здесь начинается дорога к аэропорту, дорога в будущее, дорога в мир.

Опять усматриваю знаки. Вот здесь, на этом самом месте, была кургузая аллея с цементным памятником забытому герою-пионеру. И меня именно здесь приняли в пионеры когда-то. Прошел рядом, ясно вспомнил так и не нашедший ответа вопрос тех лет. Если пионер – всем ребятам пример, а мы теперь все – пионеры, мы что, примеры друг для друга? Вот не пошел бы я гулять по прошлому, так и не припомнил бы этого никогда.

Иду по памятным местам, ни о чем не думаю. Просто кручу головой по сторонам, проблески других времен улавливаю, обрывки простеньких воспоминаний пробую восстановить. Вон там, напротив парка, у завода, стоял ангар, в который из вагонов сгружали тонны ячменя. Смотри-ка ты, ангара нет, а старый грузовой вагон остался. И не заметишь его сразу, зарос кустами и деревьями. Дурашливыми школьниками мы ходили в этом ячмене купаться, как в бассейне. Беззаботные головы потом трещали от ячменного духа, язык не слушался, ноги заплетались, становились слабенькими, ватными. Все ясно, первый хмель. Как мы ухохатывались над резко поглупевшим Димкой, сначала перепутавшим ангар с органом, а потом упрямо пытающимся разобраться в ударениях. Хмель.

А вот тут, по краю парка, лежали пути Детской железной дороги, потрясшей меня первым в жизни настоящим путешествием. Как же я тогда был счастлив! Вот их и разбирают. Хмурые мужики в оранжевых жилетах отрывают ржавые рельсы, выкорчевывают гнилые шпалы, рушат крохотные станции. Не зря пришел. Как выясняется, пришел проститься. Теперь понятно, почему многополосное шоссе. А я все думал, где же место взять для дополнительных полос? Так вот в чем дело, полосы, наверное, улягутся на место ДЖД.

Через месяцок-другой этого пространства будет уже не узнать. Время окончательно закатает мою нежную память под асфальт и станет ежедневно шлифовать ее скоростным автопотоком. Отныне ностальгировать будет сподручнее в такси, в самом эпицентре того самого автомобильного потока, возвращаясь, под хмельком, под утро, с обыкновенной взрослой вечеринки, ничем не примечательной, и не запомнившейся никому. Совсем не детская у меня теперь дорога, взрослый путь, будь он неладен.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении, становится понятно – у почти погибшей ДЖД есть еще надежда на возрождение. Рано мы с ней попрощались, проживем еще! Вот же, в двух шагах, – и новенькая насыпь, и глянцевые рельсы, и белая куча бетонных шпал.

Котоводка

Напрасно этот холодильник на колесах убежал от снежного ветра, все равно на каждой остановке в него врывались новые клубы инея и мороза. Самое высокое место в полуживом троллейбусе, которое «для детей и инвалидов», оккупировала то ли и впрямь глуховатая, то ли донельзя нахальная тетка.

Ей, похоже, тепло, уже три остановки как завоевала внимание окоченевших пассажиров, а не унимается, зычно и пронзительно треплется по мобильнику. В общем, цепко держит на себе недоуменные и вяло осуждающие взгляды окружающих. Резко оглашает названия остановок, точно сверяет с часами время прибытия, но больше оглушает нас короткими выкриками:

– Да. Да. Да нет, – как выстрелы разносятся по салону ее слова. От каждого такого залпа вынужденные попутчики вздрагивают. – Да. А ты? И что? Да. Да. Да нет.

Троллейбус немного буксует, останавливаясь у Дома Бажова, в распахнутые двери норovit втиснуться вьюга, кроме нее никто войти не собирается. Нудная бормашина электрического гула и колесных вибраций затихает на время, и в наступившей тишине звучит:

– Да! Он у меня парень яичастый!

Народ сдержанно прыскает.

– Ой, подожди, – осекается дама.

Она судорожно озирается по сторонам, осознавая себя и пространство, минуту думает и кротко добавляет:

– Это я про кота! Я – котоводка!

Народ уже не просто смеется, а включает хохот на полную катушку. Благодарная аудитория, как говорится, разогревается, впадая в реальную покатуху. Лишь мадам-котовод не веселится. Но и не особенно грустит. Думает о чем-то, озадаченно улыбаясь.

Корм

В Ёбурге, у автовокзала, аккуратно в канун выборов открыли киоск для любителей зимней рыбалки. Назвали «Козявочная». Честное слово! И оформили живописьньенко: мультяшными портретами всяческих счастливых козявок – мормыша, мотыля, малинки, опарыша и других озорных червяков. По мнению художника, именно так все они радуются накануне рыбалки, восторженно готовят рыболовные снасти, и ликуют, насаживаясь на крючок. Такая вот рекламная трактовка настроений, биографий, судеб корма.

Ой, что-то это мне напоминает.

Книжный мир Шарташского рынка

Вынос книг из наших домов продолжается второе десятилетие. Упрямым потоком течет по городским пространствам период ликвидации личных библиотечных коллекций. Пачки никчемных книг народ иногда подбрасывает на крыльцо соседней библиотеки, как нежелательных детей к дверям роддома. Уральские бабки активно распродают на Шарташском рынке когда-то страстно собираемые домашние библиотеки. Двигается прогресс, ага! Прогрессирует постыдная черта новейшей эпохи коммуникативного развития – книжный исход из жилищ.

Сбываются книжонки по дешевке, что фолианты, что брошюры. Почти все книги в отличном состоянии, а старческие руки, выкладывающие их на зыбкую картонную коробку, – нет. Не меньше сотни этих драматичных сцен и мелких сценок, или по терминологии предельно прогрессивного, весьма у нас популярного, чрезвычайно современного искусства, уже привычный глазу, всесезонный уличный флешмоб последних лет – бабушки плюс книжки – вижу ежедневно не только на рыночной площади, но и на каждом городском углу, на всех перекрестках центра Екатеринбурга. Старухи эти здорово походят на свои книжные обложки и корешки. Такие же выцветшие, неликвидные, мало кому интересные, крепкие, но нечитанные. И те, и другие – в пигментных пятнах.

ВИЗ и НИЗ

Трое повстречались впервые.

Забавно это всё у жизни выдуманно – три кавалера одной дамы прекрасно знали друг о друге много лет, а вот живьем сошлись только сейчас. Случается же такое! Три серьезных дядьки старались не смотреть в глаза друг другу, понимая, как нелепо выглядит их трио. Тоже мне, три богатыря любви: толстый, тонкий и, конечно же, дурак. Смешно. Скорее да, смешно. Комическая мелодрама реальности, только то.

Непреодолимым поводом для их странной встречи послужило событие нешуточное, но, как водится, простое, неожиданное, грустное. Скорая помощь нашего города славится виртуозными каверзами, связанными с выносом больного из жилища до автомобиля. «Мы не грузчики, мы доктора, несите сами!» – обычно заявляют одуревшим родственникам мастера спасения, и равнодушно ждут, добавив тем еще одну проблему.

Света долго не думала, проблему решила быстро, позвонив всем своим воздыхателям, живущим рядышком, на ВИЗе. Не до мелодрам ей было в тот момент, надо было срочно вынести маму на мягких носилках с четвертого этажа без лифта. Эти все оказались дома, сразу сорвались, приехали. «Вынести маму» – звучит кошмарно, но парни справились великолепно, и одеяло придержали, и на углы, пока несли, смотрели, и вовремя Дурака урезонили, предлагающего развернуть носилки вперед ногами. Потом все трое прыгнули в машину и поехали за скорой на Химмаш через весь город по всем пробкам. Вот зачем поехали? Непонятно, смысла-то в их помощи уже не было никакого.

Мало кто из нынешних жителей Бурга знает, что Химмаш – это бывший НИЗ. О знаменитом ВИЗе все прекрасно помнят, он в географии города прижился, а вот Нижне-Исетский Завод помнят немногие. Однако если разобраться, тут всё проще простого. Рождался город из заводов. У города одна река – Исеть, в свое время очень славную металлургическую историю провернувшая. В ее верховьях находится ВИЗ, а в низовьях – НИЗ.

Тонкий всю эту историческую белиберду зачем-то рассказал попутчикам, прекрасно понимая, даже чувствуя, как вежливые слушатели сразу забывают каждую новую фразу.

Уже не первый день над городом, вместо неба, висела застиранная до дыр серая простыня. Больница находилась в странном пространстве, немислимым образом сочетающем гармонию соснового леса, корявости гигантских производственных площадей, унылую степь пустырей и относительный уют пятиэтажек городской окраины. У приемного покоя стояла пустая скорая, водитель, покуривая, возился с колесом.

– Зачем вы приехали? Езжайте, не надо уже! – крикнула Светка им из окна.

Обратно ехали в молчании, никто даже не спрашивал, куда едет. Сомнений никаких, каждый явно вспоминал, как настойчиво когда-то требовал предъявить ему соперника, как твердо собирался разобраться, драться, биться. Теперь воевать никому не хотелось.

В лобовое стекло ветер ляпнул увесистую горсть мокрого снега.

– Ух, ты! Первый дождик, что ли? – тихо спросил Тонкий.

– Да, это дождь. Пока со снегом, – ответил Толстый из-за руля.

– Весна в Москве всегда хорошая. Там у них такой дряни не бывает, – отозвался Дурак.

– Вы меня, ребята, пожалуйста, где-нибудь вот здесь вот, на развязке выпустите, – попросился Тонкий, – я отсюда уже сам доеду. Всего вам доброго! Удач!

– О! Я тоже выйду. До свидания! – сказал Дурак, отстегивая ремень.

Тем не менее, прежде чем расстаться навсегда, всего-то через полчаса они опять увиделись. И ведь зачем-то это было нужно жизни. Оставив машину на парковке у ВИЗовской проходной, Толстый двинулся по площади к автомагазину, прилепившемуся сбоку от ДК, и тут же увидел Тонкого, идущего от трамвайного кольца, а потом, почти сразу, Дурака, выходящего

из автобуса. Чтобы миновать ненужную встречу первому пришлось почти бежать до магазина, второму повернуть к тяжелым дверям Дворца культуры, ну, а третьему просто сесть в следующий автобус с тем же номером.

С тех пор эти трое не виделись.

Средний класс

Сам раззява. Спасительный блок сигарет среднего класса у меня украли в налоговой инспекции. Весь день таскал его в руках, пока как угорелый таскался по присутственным конторам, добывая нужные бумажки. Всего-то продаю три книжки в интернете, а впечатление такое, будто сразу газом, золотом и нефтью взялся торговать, никак не меньше.

Уже покорно высидел множество многочасовых очередей, полкило важных бумаг насобирав, не сразу, но зарегистрировался где положено. Предприниматель. Даже по среднему, оптимистичному прогнозу в первые годы предпринимателю корячатся одни затраты и убытки, прибылей не ожидается. Но приходится старательно соответствовать странному статусу «самозанятое лицо».

Звучит парадоксально. Лицо, арендованное у самого себя – вот что слышится. Но раз уж взялся, надо сохранить это собственное статусное лицо и сделать всё самостоятельно. Вот и мастерю все документы сам. Прошил как надо, как предписано, суровой белой ниткой то, что надо: в нужном месте, точно так, как надо. Тоже смешное правило – все финансовые и прочие бизнес-документы у нас должны быть шиты белыми нитками. Во как!

Утром радостно закупились сигаретками на десять дней вперед, счастливчик. Надеялся, что прозорливо организовал себе стратегический запас кофе и табака в обеспечение небольшого периода творческого энтузиазма. Думал, хоть пару недель не буду о них думать. Напрасно радовался, зря надеялся. Стащили подчистую мои прозорливые резервы. Неожиданно вновь дожид до последней пачки. Никотиновое голодание на ближайшие дни теперь обеспечено. От кофеиновой блокады спас карман, большой пакет растворимого кофе в нем сохранился.

Сигареты увели, пока причесывался на входе у зеркала, красавец. Попятили, пока сосредоточенно наряжался в очки, умник. Меня обчистили, а я и не заметил сразу, я любовался очередью.

Вот же полотно! Вот это живопись!

Налоговая очередь многосюжетна, символична, красочна, прекрасна. Вот где документ эпохи, вот он, подлинник. Ставь камеру, снимай себе документальное кино о среднем классе. В очереди все ясны, как в бане. Особенно в предбаннике у кабинета для «ипэшников».

Немолодой мужик в новом костюме не просто обогнал, нагло всех «подрезал», суетливо занял очередь передо мной и замер, воровато похлопывая седеющими ресницами. Активный, прыткий дедушка. Пиджак на нем, жилет, сорочка, галстук. А ведь что-то очень не в порядке в униформе у этого великовозрастного бизнесмена. О! Да на нем нет брюк, обязательнейшего элемента общепринятого дресс-кода! Вместо них ниже пояса – контрастная деталь костюма от другого человека, от другой профессии. Он даже не в штанах, не в джинсах, он же в «трениках» и кроссовках! Качественный и явно дорогой, но спортивный буро-бирюзовый низ с лампасами из каких-то олимпийских логотипов выдает бывшего спортсмена, или тренера, или школьного физрука на пенсии.

Пугающе худая и уже заметно беременная девушка-очкарик смеется в голос, неприятно оголяя розовые десна и крупные зубы, испачканные помадой. Ей кажется, что в своем джинсовом комбинезоне и туфлях «на шпильках» она выглядит полноценнее, внушительнее, достойнее комичного старого олимпийца.

Прыщавый парень, только-только выросший из школьного костюма, краснея пятнами, постоянно одергивая вниз короткие рукава, цыплячьим голоском интересуется, что значат аббревиатуры в документах. Спрашивает у всех, но отвечает ему только здоровущая чопорная дама в бейсболке, занятно одетая в несколько вязаных кофт, сетчатые колготки и зимние сапоги.

Пара коротконогих снобов, просто срисованная с глянцевых обложек, надменно занимает место в хвосте очереди. Он – солидный брюнет в распахнутом английском пальто, она – дорогая блондинка в розовой шубке. Долго выдержать фасон им не удастся. Уже через пять минут они с удовольствием скандалят с отскочившим перекурить и норовящим втиснуться обратно, мешковатым, гордым, не к месту громогласным кавказцем в классических усах и кепке. Модная парочка сначала жарко возмущается в унисон, но вот уже и огрызается, их голоса теперь напоминают ленивый лай собак. Глянец, конечно же, проигрывает Востоку и хмуро сдает незаконно занятую позицию.

От занимательного наблюдения за этой очередью в бизнес, от изучения повадок и формальных особенностей современного индивидуального предпринимательства меня вдруг отвлекает пронзительное чувство ностальгии по утраченному табаку. А вдруг какая-то наивная душа нашла мой блок?

Иду к охране.

– Вы здесь не находили блока сигарет случайно? – спрашиваю.

– Где?

– Вот здесь, у зеркала.

Широколицый чоповец смеется.

– Когда?

– Да минут семь назад. Возможно, кто-нибудь нашел, и вам оставил?

– Ага! Сейчас! – все больше потешается охранник. – Ты что, не знал, куда идешь? Это же налоговая! Тут все – предприниматели. Даже не надейся, эти не вернут!

Советский дворик

Не единожды, не дважды, многократно уже слышал от водителей, подвозящих меня к дому, об этом необычном свойстве нашего двора. Хотя, чего такого в нем удивительного? Ничего особенного, двор как двор. Их, таких, остановившихся во времени, как упрямых пенсионерок, не желающих наряжаться в новые колоритные одежды, в каждом районе каждого города отыщется немало.

Вот бабушка со второго этажа, с самого дня основания проживающая в моем подъезде, вечно сидит на крылечке в стареньком таком, миленьком и замызганном пальто цвета поблекших фасадов окружающих ее домов, а в магазин через дорогу всегда идет в нарядной желтой курточке с капюшоном и в лаковых синих ботиночках. А потому, что перейти через дорогу – это уже «выйти в город». Выйти на люди, показаться из дому во внешний мир для нее целое дело. Туда в домашнем выходить нельзя, неприлично как-то, стыдно даже в затрапезном-то наряде.

– Ух, ты! Прямо советский дворик! Будто в восьмидесятые въехали, – довольно лепетнул и вчерашний таксист, миновав витиеватое кольцо узких дорожек среди девяти-двенадцатиэтажных коробок. Долго мы с ним петляли у подножия нескольких двадцати-тридцатиэтажных высоток, накрутив добрый десяток зигзагов между арками, гаражами, помойками. Наконец, остановились у подъездного палисадника, сдерживающего буйную трехметровую сирень ржавым заборчиком, сикось-накось сваренным из случайных железок.

Вот я и дома! Добрался. Здесь моя сота, нора, тихая гавань.

Ничем не примечательная биография на рассвете жизни выдала мне это ничем не выдающееся однокомнатное логово в одной из двух параллельно стоящих длиннющих брежневских пятиэтажек. Здесь моя единственная, а точнее – единственно моя ДВЕРЬ. Где бы ни странствовал и где бы ни жил, возвращаюсь я к ней, волоку в сторону своего порога по детской площадке, заросшей теперь вымахавшими выше крыш разлапистыми березами, всё-всё, что рассмотрел и напереживал во внешнем мире.

Вот они, с рождения покореженные качели среди песочниц без песка. Вот они, кривые железные горки и лазалки. Целыми-то были они хоть когда-нибудь? Не припомню. Рядышком нарушают стилистику визуального ряда несколько новых скамеек и урн, слева гудит изукрашенная корявыми граффити трансформаторная будка, а рядом с ней еще какие-то не менее живописные жэковские строения, плюс пара гаражей. Чуть поодаль – мусорная площадка (куда же без нее?), утопшая в яблонево-рябиновых зарослях. Вот никогда не просыхающее постельное белье на балконных курятниках, кругом колышутся влажные флаги трусов. Чуть дальше торчит понурый баскетбольный щит без кольца, над ним раскачиваются паутинные гирлянды проводов от крыши к крыше, а в центре композиции – белый гипсовый вазон на пьедестале в обрамлении крапивной клумбы.

Этот-то откуда здесь у нас взялся? Цветов в нем отродясь не произрастало, так, разве что у постамента. Однако жил он тут всегда, и дворник Башкирин (фамилия это или прозвище по национальной принадлежности?) всякую весну подставлял короткую лесенку и жирно красил его белой известковой жижей. Пузатые бока вазона, как и основания деревьев, давным-давно уже никто не красит, видно помер уже Башкирин, отжил свое.

Покосила смертушка с тех пор вдоволь, высвобождая место во дворе для новых ритмов, человеческих повадок, синтезированных звуков, гламурных поколений и диковинных предметов. А вот мало кому нужную малую архитектурную форму в стиле «сталинский ампи́р» не разрушает, милует. А я и есть тот самый «мало кто», которому немало радости приносят все эти ностальгические тривиальности. Куда я без них?

Прекрасно помню, как мелкою юлой носился вокруг клумбы в семьдесят лохматом году, вопя: «у меня новый папа». Счастьем фантастическим с двором делился. Очень уж хотелось радостную новость сообщить всем людям во дворе. А за мною бегали мама и ее новый друг, безуспешно пытаясь заткнуть фонтан писклявого ликования. Двор хохотал. Да и мама со своим новым приятелем, не особенно смущаясь, тоже хихикали. Мама тогда была моложе меня теперешнего. Изловил «щеньчью радость» спокойно ухмыляющийся Башкирин. Усадил экскаваторными ладонями меня, горляющего на все лады, прямо в вазон, приговаривая «защечочу-защечочу-защечочу», и ушел неторопливо, предоставив оживившимся обитателям двора самостоятельное решение задачи по выковыриванию пятилетнего нарушителя дворового спокойствия из вазонной чаши. Попробуй, забудь такое.

Вот и соврал, прилгнул, присочинил. Нет никакого вазона в нашем дворе. Из другого он двора, простите. Тоже из моего, но из самого первого, которого уж нет на свете. Так почему бы его и не переселить сюда, ко мне поближе? Он же мой. Хотя бы в этом сочинении пусть здесь живет. Ведь есть он у меня. Я его помню.

А еще хорошо помню навсегда ушедшие из нынешних времен широкие дворовые столы с домино и шашками. А рядом со столами – множество инвалидов (еще не ставшая историей война). Помню торчащие из окон большие деревянные колонки, в хорошую погоду орущие на весь двор дефицитными голосами Пугачевой и Высоцкого. Помню непрременнейшие атрибуты надворной реальности – обильные сараи и широкие огороды. Нет их ныне, и не будет уже никогда. Как и кулис белья, белыми диагональными занавесами разделяющих двор на квадраты. Как и валиков зимней ваты между рамами в каждом окне. Как и страшных коварных цилиндров металлических колонок с водой, добывать которую, не защемляя пальцы, надо было уметь. Повиснешь всем телом на длинном рычаге, подсунешь под скобку камушек подходящего размера, жди, пока вода пойдет. Повисел, изловчился, подсунул, – слезай, пей на здоровье. Помню частые похороны и свадьбы. И то, и другое – на весь двор. Громкое горе с оркестром, и шумная радость с танцами.

Радость и горе справляют сейчас в иных, специально отведенных местах. И не сидят вечерами все вместе, всеми поколениями, в одном месте, в одном дворе. Закончилось то время. Расслоился народ на юнцов и уголовников, на бабушек и девушек, на выпивох и автолюбителей, на работяг и лоботрясов... да много еще на кого. У каждой группы – свое пространство во дворе и во времени суток. Рядом, но не вместе. Тесно, а не близко. Ошибаются таксисты; ничегошеньки советского здесь не осталось.

Курение вредит!

Отвратительный сюжет из теленовостей: группа детей-активистов шла по центру Екатеринбурга и обливала водой всех встречных граждан, курящих в неположенных местах. Зашуганные курильщики не особенно сопротивлялись унижению, просто утирались и сбежали с места происшествия.

Ремня бы этим юным активистам всыпать вовремя, чтобы перекачать мозги из задниц в головы. Энергичное, свежее поколение прогрессистов. Они же скоро подрастут, они же очень скоро станут активничать совсем в других ситуациях и пространствах. Но рядом шли довольные организаторы процесса – широкозадые родители с родительницами, пара грушевидных полицейских, съемочная группа хорошо откормленных журналистов, и стандартный, несколько плешивый, луноликий депутат в золотеньких очочках, неграмотный, активный, говорливый.

Вот до чего это вредное дело доводит, курение. Гадость редкостная.

ДК Горького

Чудесный, необычный дом на Первомайской улице советского Свердловска.

Удивительное было место и занятнейшее время. На первом этаже, в театральной студии, не столько ставил спектакли, сколько упражнялся в театральной школе и готовился к преподавательской карьере маленький режиссер Грачев. На втором этаже, в комнатке любительского ВИА, пел Шахрин, и что-то замышлял. На третьем этаже, в агитбригаде, озорно выпивал с тремя восторженными девами изгнанный из театра Коляда, время от времени он спускался на первый этаж поиграть Поприщина, показывал распечатанные под копирку короткие рассказы, и явно что-то затевал. Под самым чердаком, в каморочке с табличкой «Киностудия ДК», готовился к самоубийству (да, так просто) загадочный и нервный кинорежиссер.

Ах, боже мой, забыл ведь его имя напрочь. Туманов, кажется, возможно, Витя.

В сыром подвале, среди сохнувших гуашевых щитов, тихо позвякивали гранеными стакашками и шуршали холстами своих новеньких работ веселые безбашенные художники (имен не помню). Сговаривались о чем-то парни, а верховодил ими пиратоподобный Воскресенский.

Тридцать с лишним лет биография шлифовала мои воспоминания о тогдашних реалиях этого дома. Недошлифовала. Дом, инфицированный творчеством. Теперь в нем банк, магазины, офисы. Не в творчестве, конечно, в доме... Хотя...

Опять символика, опять все точно. Переменились времена. Но если ты желаешь дальше жить, – переживай, раздумывай и ностальгируй. Как можно чаще вспоминай, и думай, думай, думай! К примеру, вот о том, как быстро дом культуры стал доходным домом.

В нем есть пристойный зал на двести мест с прекрасной сценой. Ныне он затаился. Просцениум, порталы, занавес, колосники, карман, балкон, прожектора, софиты спят. Теперь в него так просто не попасть, пространство творчества сегодня заняли финансы. Зачем же банку зал, зачем ему софиты? Не знаю. Да и финансовые командиры тоже этого не знают. Недавно пробовали сдать в аренду, никто не взял. Так и стоит пока порожняком. Но, всё же, – жив! А значит, – ждет! Чего? Иных времен, конечно. По мне, так и дождется.

Такие вот дома, в таких-то вот местах, ой, как упрямы. И «Чайник» здесь, рукой подать (училище Чайковского), и старый ТЮЗ, ставший Учебным театром, рядышком Литературный квартал и Дом Метенкова, Центр современной драматургии, Киноконцертный зал «Космос», филармония и Камерный театр, новая коробка ТЮЗа, студия Пантыкина, Музей истории города и Музкомедия недалеко, бывший Дворец пионеров (по-нынешнему ДДТ) на самой вершине и Станция юных натуралистов в парке. Да много здесь еще чего подобного в округе. Все это – подножье Вознесенской горки. Именно отсюда расползается по окрестностям творчество!

Мои московские, вологодские и костромские гости выспрашивают, где же ваши горы? Да вот же! Вот они и есть! Такие у нас горы!

Зеркало

Очередь первого часа работы Сбербанка и Почты поведает о городе намного лучше самых виртуозных краеведов и литераторов.

Есть такое удивительное время в жизни всяческих присутственных мест, которое легко расскажет нам о нас, нужно только выбрать нужное время и внимательно приглядеться-прислушаться. Подглядывать можно и в тривиальном супермаркете, и в коммунальной конторе, и в поликлинике, и в надменном госучреждении, и в пенсионном фонде, да еще в несметной бездне многих других жизненно важных народному быту и животу пространств.

Время в очереди очень красноречиво, оно наполнено характерами, драмами, комедиями, глупостями, странными поведенческими особенностями, премудростями, бессмысленностями, низменными привычками и высочайшими интеллектуальными ценностями определенного времени. Драматургам, думаю, надо бы ходить в такие очереди, как на работу, сюжетам учиться и темы вынюхивать. Там, где есть прилавок, касса или стойка, в утренних очередях стоят, сидят, руководят, скандалят, модничают, чопорничают, судачат, сплетничают, плачут и смеются, оживляются и даже умирают неисчерпаемые источники драматургии – трогательные бабушки-гномы. Это их законное пространство, их излюбленное время, только здесь они водятся в таком количестве. К обеду эта «плотность гномов» в городе неторопливо разжижается и гаснет, разбавляясь другими типами народонаселения, да и очереди, кстати говоря, куда-то исчезают.

И при чем здесь гномы? В позапрошлом веке жену городского домового здесь у нас называли Доманя. Это вам не какая-нибудь деревенская Домашка или Домовиха в сатиновом сарафане, простенькая и темная. То ли дело прилично одетая Доманя или Домна – звучит гордо, прогрессивно, статусно!

Ныне наши Домани плотно наполняют зал какой-нибудь конторы коммунальных платежей с утра пораньше, и абсолютно не смотря ни на какие электронные очереди, подробно, прямо в лоб, дотошно выясняют, кто за кем, куда и как. Они безостановочно выспрашивают, повествуют, хихикают, показывают непонятные бумаги, грустят и ностальгируют, подшучивают над собой и окружающими, обижаются на шутки, разнообразно ссорятся и мирятся, и часто, но недолго, плачут. Именно здесь они по-настоящему живут и дышат. Бабушка-доманя – это не возраст, среди них есть и молодые мамушки, и тетушки средних лет, и некоторые девушки, давным-давно готовые ими стать. Да почему же некоторые? Почти все.

За стойкой, разделяющей зал пополам, для полноты картины отделенные от сборища домань полупрозрачным стеклом, в пространстве сканеров, принтеров, мониторов, проводов, бумаг, клавиатур носятся довольные и терпеливые девчушки-операторы, пока искренне убежденные, что очередь – не о них, не для них, не для их дочерей.

Осознает ли эта зычноголосая молодка, мясистая и нагловатая, что ежедневно видит сквозь стекло по ту сторону стойки собственное будущее? Взгляните, как идеально накладывается на ее широкое лицо физиономия желчной старухи с точно такими же мелкими глазками, переполненными несгибаемым убеждением в собственной правоте, недоверием ко всем на свете, и твердой верой в личное безоблачное завтра.

ВЫНОС

Обветшалый подъезд брежневской пятиэтажки прощается с новоселами.

Обкуренные санитары несут на стуле запоздалую старуху. Равнодушные хип-хопперы, покуривая, наблюдают вынос тела в тонированное окно облупленной «девятки», распухающей изнутри басами и ритмами нового века. Одутловатая врачиха в застиранном халате средних лет (и у нее, и у халата – средние годы), докуривает и запихивается в новехонький реанимобиль. Перспективные детсадовцы, неуправляемым косяком акульих мальков срываются из песочницы, и бегут, запинаясь, поедать новое зрелище. За ними несутся грузные мамочки, стараясь пресечь наблюдение, оградить от вредных впечатлений. Подходит крепко спаянная группа иностранных специалистов в сфере сантехники и дворовой уборки. Им интересно, у них на родине такое происходит не так. Подтягиваются утренние выпивохи, мастера замусорить дворовые территории. Им тоже хочется позирить.

Вынос тела – вынос мозга.

В чистейшем небе, над проводами и антеннами, блестит авиалайнер, оставляя на синем фоне белый облачный след. А в самолете, наверное, летит престарелая дочь старухи. Черкает записки, мызгает заметки, мнет бумажки, готовится к выступлению на конференции. Она еще не знает. Ей пока не до дум об отеческих пятиэтажках. Потом приедет, на поезде.

Какая-то невидимая форточка громко транслирует на весь двор дискотеку восьмидесятых. Как редко эти песни звучали в первые годы жизни дома! Классический школьный дуэт (ну, просто Роман и Юлька из фильма) ускоряет шаг, практически бежит от тягостной картины. Пока нет места этим зрелищам в их жизни. Приземистый дед поливает шлангом с балкона приподъездные деревья. Ему не до выноса, не хочет он думать об этом. Карликовая тетушка, надрываясь, волочет гигантские вязанки обоев. Ей тоже не до этого.

И мне не до того! Включаю телек и зашториваю окна. Но в эфире – фестиваль прекрасного кино восьмидесятых. Отвлечься не выходит. По всем каналам мелькают лица и глаза редчайших в свое время артистов и образов. Ну, просто половина телетрафика – то самое кино. Его достали со всех полок, вынули из всех хранилищ. Теперь вот достают им нас.

А неплоха была эпоха у старухи! Жаль, быстро миновала. Да и зачем, вообще, эпохам миновать? Чем наша лучше? Нам бы лет пятьсот прожить в одной эпохе.

Странный Виктор

Печальный, беспокойный город, весь день бежит куда-то, суетится и почти не радуется ничему. Красивым стал, высоток понастроил, на улицах прибрался, похорошел, но не обрадовался.

Откровенно говоря, жить в этом городе было скучно во все времена, в любые годы, и в любое время года. Нам здесь стабильно тоскливо всегда, что весной, что осенью... в будни и праздники... в молодости, и в старости... Здесь безумно уныло за каждым углом, как бы эти углы не декорировали сегодня модными архитектурными прелестями да ажурными фонарями центральных районов. Здесь невесело веками, тут безрадостно всем почти, здесь давно уже врос в географию черно-белый ген всеобщего уныния. Ведь настоящий образ города заметнее не на фасадах, а на лицах горожан. И ампиру-то тут у нас, посреди пустырей, автостоянок и помоек совсем кисло живется, и конструктивизму, рядом со стройками, долгостроями, складами и овощными базами как-то безрадостно.

Тяжко наш город рождался, трудно жил. Отчего же теперь ему стать беззаботным, и ни с того ни с сего радостными лицами вдруг расцвести? А вот же, тужится-пыжится он, да и расцветает время от времени. Хочется ему простой радости, хочется ясной жизни. А когда сильно хочется – получается. Не сразу, и не прямо, а ведь выходит у него не то что бы радостно жить, но хотя бы усмехнуться иногда, вздохнуть спокойно. Солнышко выглянет – город и рад!

Когда безоблачно и безветренно, город расплывается в ясной улыбке. Гляньте, как же он прекрасен, оживлен, совершенен! Особенно в центре и утром. Наши вечно озабоченные городские жители в добрую погоду приветливее не становятся, однако все они делают немного добрее, это заметно.

Петр Палыч свой музей не любил, как и город. Музейного дела он не понимал, да и понимать не хотел, но уже второй год честно работал здесь сутки через трое, как говорится, ночным директором с широкими полномочиями – сторожем и охранником, грузчиком и гардеробщиком, дворником и уборщиком, оформителем и смотрителем, иногда даже кассиром и билетером. Молодому пенсионеру выбирать не приходится, зацепляется там, где берут, он и так это место два года искал.

Конечно, проще было бы сторожить понятный гараж, офис или банк, например. Пришел, все двери-форточки проверил, сигналку принял-сдал, замки закрыл, – вот и ходи себе по периметру, следи за обстановкой, или думай о городе, или пиши-читай, когда оно получается. А тут чего? Вечные мероприятия, монтажи-демонтажи экспозиций, открытие выставок и прочая шуруда. Ночь-полночь, а эти всякие научные сотрудники все еще по кабинетам сидят, винцо попивают, или по залам таскаются с непонятными разговорами и гостями. И искусство-то у них такое же непонятное, это же музей как бы нашей истории, а на стенках вывешивают постоянно какую-то заграничную белиберду. Не про нас это всё, не о нас.

Петр быстро разобрался в творческих пристрастиях жуликоватых музейщиков, те просто-напросто пропагандировали что-то чужое, за которое чужие им, наверняка, что-то платили. Ну, и наплевать на них на всех, на бессовестных, уходили бы вовремя.

Странно получилось. Вместе с ним на музейной вахте служило еще три писателя. Двое, как и он, пенсионеры (нумизмат и краевед), а один – довольно молодой еще и очень чудной, даже наглый тип, всем встречным-поперечным часто докладывающий, что он-то тут не просто так, дескать, он здесь не только историю сторожит, а еще и материалы собирает, художественную прозу пишет, и, главно-дело, за людьми исподтишка подглядывает.

Как же много писателей наплодили нам города в новом веке, кто же это добро читать теперь будет? Мне вот почему-то не хочется. Да и Петру Палычу читать произведения этого

сторожа истории совсем не хотелось. Петр не то что бы в музее, он и дома-то никому не рассказывал о том, что сам пишет повести. Сначала надо было написать хоть один пристойный текст, чтоб ни убавить, ни прибавить, а уж потом о нем рассказывать.

Вопреки ожиданиям, на дежурстве в музее совсем не писалось, зато читалось там хорошо. Петр Палыч за год музейных ночей подробно перечитал полное собрание сочинений Антона Палыча, чему был несказанно рад. А прочитав из непрочитанного вовремя оставалось еще много чего.

Ночь в музее мелькала моментом, без мистики и метафизики, особенно под тексты Олеси или Андреева. А потом наступало самое милое время – ясное городское утро. Петр очень любил эти прекрасные рассветы, из-за них-то, наверное, и не разыскивал нового места работы.

Выходишь серым утром на крылечко городской усадьбы, как какой-нибудь дореволюционный лабазник или лавочник, стоишь, покуриваешь у раскрытой двери подбоченясь, а перед носом у тебя, едва глаза продравши, город во всей красе вышагивает. Сначала проезжают рекламисты, сдирают старые плакаты, новые вывешивают. Потом идут уборщики большой узкоглазой бригадой, захватывают в плен всё содержимое ночных урн, лихо машут метелками, зашвыривают быстро в медленный мусоровоз скопившиеся за ночь черные пакеты, а за мусорками – пылесосы, подметалки, поливалки едут. Светлеет город. Вот и троллейбусы поехали, вот и народ пошел. Вот и к газпромовскому офису на горке красивые автобусы красивеньких сотрудников подвозят. Вот и банковские менеджеры всю стоянку у музея машинёшками своими запрудили. Вот и помятые студенты из маршруток вываливаются, и оркестранты в филармонию бредут на утреннюю репетицию. Вот и проснулся город окончательно, побежали все, кто в нем есть: туристы и артисты, бомжи и дети, чиновники и менеджеры, студенты и преподаватели, пенсионеры и трудяги, водители и пешеходы, торговцы и музейщики. Динамичные, яркие все, очевидно чего-то там важное, в койках своих, недоспавшие, и от этого хмурые, неприветливые. Ясно все с ними, им же, бедным, работать весь день, а не трое суток отдыхать.

– Сигаретку-то дашь? – тихо спросил из-за плеча очарованного сторожа, засмотревшегося на утреннее городское дефиле, знакомый хриплый голос.

Рядом стоял хорошо известный всем окрестным сторожам и вахтерам бомж Виктор, которого Петр постоянно гонял из музейного дворика. Сто лет назад этот двор назывался дровяным, а теперь в нем хранились ненужные музею экспонаты, по городу таких-то вот уютненьких дворов и не осталось уже совсем. Вот Виктор и навещался сюда с новыми подругами, как он выражался «посидеть-пообщаться в культурной обстановке». А Петр был непримирим, Петр их выдворял. Однако кто-то из других сторожей этому бомжеватому разврату явно потакал, поэтому Петру приходилось в теплые времена несколько лишних раз обходить территорию.

– Кури, – протянул Петр Палыч сигаретную пачку в сторону Виктора, и ясно припомнил, как они познакомились. Было буквально такое же утро, только год назад.

«Бомж Виктор», – сказал тогда ужасающе грязный парняга лет сорока на вид, пахнул перегарчиком прямо в лицо и в две минуты поведал о том, кто и как тут живет на нашей Вознесенской горке. В том разговоре Петр и узнал, где тут у нас Газпром, Водоканал, где никому не нужный бывший ДК Горького, какие здания принадлежат тут храму, какие филармонии, а какие Литературному кварталу, что тут от города, а что от области, что в ведении Патриархии, и чем рулит Управделами президента.

– Видал, какую булку с маслом я сегодня к Чайнику довел? – спросил Виктор.

Действительно, размахивая руками во все стороны и даже приплясывая от восторга, Виктор поутру проскочил уже разок мимо Петра. Вот же шуруда!

Бородатый грязнуля вел в сторону училища Чайковского перепуганную девушку, крупную, покрасневшую, одетую в очень нарядную, по ее мнению, вишневую курточку с капюшоном. Странная парочка. И у того, и у другого, время от времени, в руках оказывалась ручка такого же крупного, как и хозяйка, чемодана на колесиках. Вот уж кто был во всей этой компании по-настоящему нарядным, так это чемодан. Прекрасный, крепкий, заграничный... весь в никогда не увядающих цветах! Европейской клумбы кусок на колесиках, а не чемодан, право слово! Городской бродяга в новой телогрейке и сельская красавица в мешковатой куртке выглядели рядом с ним, таким колоритным, столичным и стильным, совсем унылыми провинциалами с исторически тусклыми лицами, беспородными телами в бестолковой одежде, и скованными, какими-то даже извиняющимися за каждый шаг движениями.

Всего-то год назад, Петр не то что бы разговаривать с бомжами не стал, он бы и не посмотрел в их сторону. Да даже если бы и посмотрел, не понял бы он ничегошеньки в их болтовне в прошлом году, а теперь вот говорил спокойно, понимал, о чем рассказывают, даже чем-то интересовался. Он их по-прежнему не понимал, но и не осуждал, и нос от них уже не воротил, как раньше.

– Она поступать, что ли, приехала?

– Ну да. Еще одна михрютка. Я ей, понимаешь, говорю: «Что, на Фросю Бурлакову поступать приперлась?», а она мне: «Нет, я в Музучилище учиться». Баламошка! Я ей: «Фросю-то помнишь?», а она: «Не знаю, не знакома я с Бурлаковыми». Ха. Тоже, как и мы с тобой, откуда-то из-под Чусовой приехала, наша девка-то, деревенская. Глуподырая еще пока, не знает ничего. Ты же вот Фросю Бурлакову знаешь?..

– Нет.

– Да ладно... И кино не видел?

– А... В кино-то видел...

– А вот эта мимозыря даже кино еще не видела ни разу! Представляешь?

– Опять нам деревня города заселяет зачем-то, – буркнул Петр.

– Ага... Эта-то дурочка думает, веселее ей будет здесь, типа легче заживется. Вон, сидит на крыльчке, артистка, и радуется. А у нас, на самом деле, скукота здесь, как дома.

– Ага... вот я и вижу: ты весь день как белебенья колобродишь, рот до ушей. Чота несильно заскучал...

– Да мне-то чо? Я же на кочерге, мне хоть дома, хоть не дома – хорошо! Сигаретку-то дашь еще? И это... Может, у тебя какие старые ботинки есть? Смотри, чего ношу. – Виктор вытянул ногу, с удовольствием разглядывая новехонькие туфли из какой-то, видимо, крокодиловой кожи. – Гламурятина какая! В них только летом по машинам сидеть и в ресторанах по паркетам шарабиться. Скажи ты мне, они мне осенью куда? Промерзают, заразы. Батюшка телагу выдал, а обуви у них не будет, говорит.

– Ну, я порою дома. У тебя какой размер?

– Чем больше, тем лучше, можно же потом носками утеплить.

– Вас чо там, батюшка в храме, одевает, что ли?

– Как бы да. Надо только службу отстоять.

– Хороший у вас батюшка, правильный.

– Толстый, молодой и глупый у нас батюшка. Я его вообще сынком зову.

– А он?

– А он меня – странным Виктором. Я ему, понимаешь, говорю: «Бомж Виктор я, сынулька, ничего странного», а он: «Все вы, типа, странники, поэтому и странные». Тоже скучный, в скит какой-то хочет нас загнать, чтоб мы там робили, не пили и молились. Я вот не поеду. Это... ты ботинки посмотри, пожалуйста. Сегодня первое?

– Первое.

– Завтра приду к тебе, ладно?

- Так-то у меня дежурство только через трое суток.
- Хорошо. Четвертого приду.
- Пятого утром приходи. Ладно, вали уже, у меня вон, уборщицы идут.

Петр Палыч прекрасно знал, что в назначенное время Виктор не придет, но твердо решил обязательно собрать ему, тайком от жены, посылочку с шерстяными носками, сигаретами, какими-нибудь шоколадками, конфетками там. Лишних зимних ботинок у него у самого не имелось. Но, хоть что-то. Даже блудяге надо помогать, особенно, когда оно тебе и не стоит-то почти ничего. Хоть немного согреть шалопута, когда вновь нарисуетя.

Землячок. Тоже ведь из-под Курьи приехал, тоже ведь после армии домой не вернулся. Да и что ему делать там, дома-то? С мамкою в огороде копать, рыбачить, за скотиной ходить, в леспромхозе батрачить, по теплицам навозы разбрасывать, банчить грибами на трассе, или бухать с мужиками? Не семейный он, вовремя не женившийся, не разродившийся. Детки с бабьем мужика-то у дома крепко удержат, никаких городов не понадобится. Это вон Петр вовремя чухнул, в городе сразу учиться пошел, да не куда-нибудь, а на инженера МПС, там и квартиры быстро давали, и с деньжатами всегда нормально было. Вот и с квартирой теперь он живет, и с женой. Как положено, на ноги встал, хорошо обжился, своевременно остепенился. А этот все болтается, шлындра, никак не успокоится. Работа у бомжей тяжелая, неблагодарная, попробуй, посиди весь день на паперти, потом пойдя, бутылки-банки собери по урнам, а по дороге мелочь у прохожих повыклянчивай. Та еще пахота. В этом смысле алкоголик-трудоголик Виктор носился по центру, как веник, прекрасно зная тяжелый физический труд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.